



ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА. ПОЛЬША

Чеслав Милош

НА КРЫЛЬЯХ ЗАРИ ЗА КРАЙ МОРЕЯ

Чеслав Милош

На крыльях зари за край моря

НП «Центр современной литературы»

Милош Ч.

На крыльях зари за край моря / Ч. Милош — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-156-0

...Действительность требует облечь ее в имена и слова, но она невыносима, и, если мы ее касаемся, когда она рядом, из уст поэта не исторгнется даже жалоба Иова: всякое искусство оказывается ничем в сравнении с действием. А объять действительность так, чтобы сохранить ее во всем извечном переплетении добра и зла, отчаяния и надежды, можно лишь благодаря дистанции, лишь возносясь над ней – но это, в свою очередь, представляется нравственной изменой (Лекция по поводу вручения Нобелевской премии 8 декабря 1980).

ISBN 978-5-91627-156-0

© Милош Ч.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

I. Послушание	6
II. Заметки натуралиста	8
III. Lauda	15
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Чеслав Милош

На крыльях зари за край моря

*Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada
Niechaj Świat Bogu chwałę opowiada*

I. Послушание

Что бы ни подвернулось под руку, кисть, резец, перо,
карандаш,
Где бы ни застали меня, на плитах атриума, пред царской
парсуной, в монашеской келье,
Исполню все, к чему был призван в провинциях,
Вступая, хоть некому объяснить, куда вступаю и зачем.
Вот и сейчас, под фиолетовой тучей коня рыжего просверк.
Вьются, знаю точно, подручные по подземельям,
Свитками шелестя, цветную тушь кладут и лак на печати.

А страшно уж как страшно. Мерзостность ритмичной речи,
Что сама себя обмоет, сама же и причешет,
Пусть я и хотел бы сдержать ее, вымотан лихорадкой,
Инфлюэнцей вроде тех, испанских поветрий,
Когда вперенный в тщетность моих затхлых лет
Слушаю, как штормит в окне Тихий Великий.
Но нет, подтяни ремень, мужское являя начало,
Оттого только, что день и заржал конь рыж.

О равнины. Просверкнут поезда тумана.
Дети идут пустырем, хмарь за чухонской деревней.
Ротмистр Ройза, мертвый. Мовчан. Вихри враждебны.
А хуление беззаконных саднит и горчит змеиным укусом.
Не преклонить колен над рекой невеликого края,
Чтобы внутри окаменевшее развязалось,
Чтобы уж ничего кроме слёз моих, слёз.

Хор:

Беспокойны
Чаянья старцев.
В ожидании дня
Силы и славы.
Дня понимания.
Столь многое нужно
За месяц, за год
Сдюжить.

Кружит, подобна небу, на солнечных островах, на соленых
бризах,

Течет, не течет, иная, всё та же.
Резные каноэ, в сто весел, танцор на корме гарцует,
Прыг-скок палочкой о палочку стук-постук.
Звонящие пагоды, в бисерной паутине зверюшки,
Тайные терема царевен, плотины, лилии.

Кружит, течет, речь.

Хор:

Чей краток век, у того легкие вины.
Чей долог век, у того тяжкие вины.
Когда ж настанет тот брег, с которого мы увидим,
Как и отчего сталося?

Темным-темны города вернулись.
Листья кленов устилают двадцатилетнему путь,
Что идет терпким утром и заглядывает сквозь заборы в сады
//Или подворья, где кто-то колет дрова и лает Жучка.
А теперь слушает на мосту плеск ручья, колокольного смеха,
Под соснами песчаных обрывов иней, туман и эхо.

Откуда ведом мне запах дыма, поздних далий
На покатых улочках в дощатых настилах,
Если это было давно, в приснившемся тысячелетии,
Вдали, там, откуда бежит исчезающее светило?

Был ли я там, свернутый зародышем в семядоле,
Призван с тем, чтобы за часом час меня коснулся?
Так ли мало под вечер выпало зноя и тягот,
Что вместо платы свершившаяся моя участь?

Под фиолетовой тучей коня рыжего просверк
Откроет мне смутно былое.
Роняет имя мое покровы
И в водах звезды сгорают.
Вновь тот неназванный говорит за меня,
Отпирая сонные тающие дома,
Чтобы писал тут в пустынях
За морями и горами.

II. Заметки натуралиста

Хотел бы забыться в легенде, в буколке, однако не выйдет, не оттого, впрочем, что слишком сильно занимало меня уменьшение численности кондоров в Сьерра-Неваде, падение социального статуса медведя или же распря между зелеными и ковбоями по поводу горного льва, он же кугуар, то есть, пума, в результате чего сенат штата Сакраменто запретил в 1971 году охоту на кугуара в течение ближайших четырех лет:

Четырехпалый клевер вдоль речной жилы,
Орех-двойчатка в лесной заказ.
Там жизнь большая нам ворожила
И ожидала, хоть не было нас.

Отче дуб наш, круты твои плечи.
Сестра березка вслед пошептала.
Так удаляясь мы шли навстречу
Живой воде, как к началу начал.

Пока в боровой скрываясь черни
В течение дня юного лета,
Не встали у ясных вод вечерних,
Где князь бобров переправы лепит.

Прощай, природа
Прощай, природа

Пролетали над лентой белошапочных гор,
На душу кондора в кости играя.
– Улестим ли мы кондора?
– Не улестим мы кондора.
// Запретных плодов не вкусил, се вымирает.

В парке над рекой медведь перешел дорогу
И, вытянув лапу, о помощи просит.
– Так-то шугал пилигримов лесного края?
– Дай ему пива бутылку, пускай гуляет.
Знавал и он время добрых медвяных просек.

В два прыжка преодолена лента асфальта
И снова в свете фар отуманенный ливнем лес.
– Вроде бы кугуар.
– Может статься.
Если верить статистике, как раз здесь.

Прощай, природа
Прощай, природа

Словно наяву вижу, как разбивается детское мое мечтанье:

Итак, сидя-не-сидя за партой, я ныряю в пособие на стене класса,
Фауна Северной Америки.

Братаясь с прачкой-енотом, глядя оленя вапити, гоня диких
лебедей над карибским шляхом.

Хранит меня чаща, в ней серая белка может неделю идти по
верхушкам деревьев.

Но волею-неволею надо к доске, кто ж угадает, когда.

Ломок в пальцах мел, оборачиваюсь и слышу мой, таки мой, голос:

«Белее конских черепов в пустыне, чернее путей межпланетной
ночи //

Нагота, и только, безоблачный облик Движения.

Эрос, вот кто сплетал нам гирлянды из цветов и плодов,

Плавленное золото из жбана цедил в закаты и восходы.

Это он вел нас посреди сладких пейзажей

С низкими ветвями над потоком, ладных взгорий,

Эхо манило нас всё дальше, кукушка сулила

Место, запрытанное в гуще леса, где нет печалей.

Взгляд наш уязвлен и вместо гниения зелень,

Киноварь лилии, синь генцианы горечавки,

Кожистая кора в полумраке, извилистость ласки,

Так, лишь восторг, Эрос. Уверовать в алхимию крови,

Вечные обеты дать миражам, земле детства?

Смириться ли со светилом без цвета и речи,

Никуда не рвущимся, никого не зовущим?»

Спрятал лицо в ладони, а класс за партами смолкнул.

Неведомый, ибо минул век мой и сгнуло поколение.

О своей давешней изворотливости держу речь, когда, предчувствуя многое, пришел к мысли, что собственно не нова, но высоко чтима теми, что серьезнее меня, но не были мне известны:

Сгнуло поколение мое. И города. Народы.
Но об этом чуть позже. А сейчас обряд мгновения
В окне отправляет ласточка. Тот юноша, неужто понял,
Что красота никогда не здесь и всегда лжива?
Глядит на свои палестины. Косят отаву.
Изогнулись дороги, под гору. Рощи. Озера.
Пасмурное небо с единственной ясной прядью.
Повсюду шеренги косарей в домотканых рубахах,
В портах темно-синих, выкрашенных, как велит обычай.
Видит, что вижу и я. Впрочем, был сметливым,
Смотрел так, будто память преображала вещи.
На бричке егозил, чтоб впитать как можно больше.
Откладывал, значит, искомое на черный денек,
Ради сложения из крох идеального мира.

И всё бы ничего, если бы не подводил нас язык, для одного и того же подбирая всё новые имена в чужих временах и землях:

Альпийская падающая звезда, Альпийский метеор
(Додекатеон альпинум)
Встречается в горных лесах на Рог Ривер.
Река эта, в Южном, стало быть, Орегоне,
Раскинула на труднодоступных своих берегах
Рай для охотника и рыболова. Черный медведь и кугуар
Водятся в изобилии на тамошних склонах.
Название идет от розово-лиловых цветков
С обращенным к земле пестиком, вверх лепестками,
Вкупе напоминающих звезду из журнала
Прошлого века, несущую тонкий сноп линий.
Реку же нарекли трапперы-французы,
Когда один из них угодил в засаду индейцев.
С той поры стала для них Ривьерой Плуттов,
Беспутной Рекой, отсюда Рог в переводе.

Сидел над ее течением громким и пенистым,
Сжимая камни в ладонях, думал, что имя
Индейское того цветка останется неизвестным,
Как неизвестным останется имя, древнее, их реки.
Каждая вещь должна нести в себе слово.
Но не несет. Ничего не поделать.

Лезут в голову дикие куплеты об Оняле и *halia rūtele*, зеленой руте, вечном, казалось бы, символе жизни и счастья:

Для кого ж Оняля руту высевала,

Ту вечнозеленую в шетейских огородах?
Кому *жаля рутяля* вечером спевала,
Эхо разносило по росам, по водам?

И куда ж в веночке рутовом пошла она,
Юбку да из кофра брала ли с собою?
И кто на том свете-то индейском да узнает,
Что была Оналей, а стала другою?

Коротенько о том, как изменилась любимая мной некогда книга *Наш лес и его обитатели*:

Плач разодранного зайца наполнил лес.
Наполнил лес, в нем ничего не меняя.
Ведь смерть отдельного существа является его личной
проблемой,
И пусть оно разбирается с ней, как умеет.
Наш лес и его обитатели. Наш, нашей хаты,
Опоясан колючкой. Сосут, чавкают, цедят,
Взрослеют, гибнут. Мать равнодушна.
Если вынуть из ушей серу, то бабочка в хвое,
Расклеванный птицей жук, раненая медянка
Лежали бы внутри концентричных кругов
Вибрирующей агонии. Ее пронзительный звук
Заглушил бы стрельбу лопнувших почек,
И детям нашим, с земляничной полянки,
Не слышать дрозда, трелей его, этих чудных.

Отдам должное Стефану Багинскому, научившему меня пользоваться винтами микрометрическим и макромметрическим, а также предметным стеклом, не забуду и главного виновника моего пессимизма, цитируя к месту его труд о подвигах на службе науке, для пользы юношества изданный в Варшаве в 1890 году: Проф. Эразм Маевский, *Доктор Мухолов; фантастические приключения в мире насекомых*:

Наставникам юности нашей приветы.
Тебе, ангел от естествознания,
Брюзгливец Багинский в клетчатых пумпах,
Властитель амёб и инфузорий,
Где бы ни упокоился твой, чуба тонкорунного
Череп, обласканный роем элементов,
Какая бы ни постигла очки твои участь,
Их тонкую золотую оправу,
Долг возвращаю.

И ты, свободный от всяческой эрозии,
Ты, Доктор Мухолов, рыцарь
Приснопамятного похода в край насекомых.
Живешь, как и жил, на улице Медовой в Варшаве,
Слуга твой Григорий с утра ковры выбивает,

А ты оделся для холостяцкой прогулки
Вдоль тех аллей, где уже давно одержал победу
Надо всем, подвластным распаду и переменам.

Случилось это в месяце (вероятно) июне, год 187* -й:

«День, в которой наш натуралист должен был повести к алтарю прекрасную нареченную, был ясным и безветренным. Именно такие располагают к вылазкам за мухами. Д-р Мухолов, тем не менее, надевши фрак, уже не думал о двукрылых созданных. Лишь в связи с погодой, а более по привычке, свой последний свободный час решил провести в Королевских Лазенках. По пути он размышлял о счастье будущей жизни, как вдруг его мечтательному взору предстало нечто двукрылое. Прищурился и застыл на месте. Ктырь! Азилюс, но невиданный до сих пор азилюс! Сердце стучало, словно молот. Затаив дыхание, сделал шаг к ветке, чтобы рассмотреть чудо подробнее, тем временем хитрое насекомое, позволив убедиться в собственной неповторимости, перелетело на следующий сук. Наш зоолог, не упуская его из виду, на цыпочках пошел на сближение, но ктырь, не будь дурак, вовремя отдалился. Раз за разом проделывая сей фокус, разудалая муха обвела его вокруг клумбы. Естественник терял ее, вновь находил, так играли они в прятки, время же шло себе и шло. Настал час венчания, когда азилюс устроился весьма высоко, так высоко, что впору было лезть на дерево, чтобы продолжить погоню. Раздумывать не приходилось».

Ах, лукавый Рок! Надо же было застукать
Ловца с цилиндром вместо сачка, на ветке.
Надо было сомлеть деве от этой вести.

О взбалмошность сущности женской.
Избрала себе землю тюля и газа,
Готовых треснуть зеркал в будуаре,
Ночных горшков, от которых разве что ушко
Звякнет под заступом, рожениц, вытниц,
Их шепотов *Между устами и краем кубка*
Либо между устами и наполеоном,
Подъедаемым последышами в бурьяне.
Земля как земля, для многих бесценна.
Да будет пухом, хоть не бывает пухом.

Признайся, когда бы не день этот, Мухолов Ян,
Заплесневел бы дух твой средь абажуров.
Чиста и бескомпромиссна, страсть
Не вела бы встречу предназначению,
К рассветной поляне татранской,

В долине Бялой Воды, в Рувенках,
Чтоб, глядя на пурпур восходящего солнца,
Испить, согласно правилу, эликсира
И войти туда, где нету ни вин, ни жалоб.

Я был с тобой, умаленный, в бездонном крае,
В стеблях травы толщиной в ствол кедра,
Среди треска перепончатокрылых монстров.

Вставал по центру листьев шероховатых
И над полумраком болотной бездны
Переправлялся по канату из паутины.

Отметил: «в чудовищной связи».
На соках, смолах, клеях, миллион миллионов
Сплетенных лапок, крыльев, брюшков
Бьются, слабеют и остывают навечно.
Жирное мясо личинок, сжираемых заживо
Хищным потомством любопытствующих мух,
Волнуясь члениками, беспечно пирует.
Гуманитарий парламентского века,
Ну что ты за ученый, к чему нам сердобolie?
Уместно ль гневом исполняться,
Когда по черной тлеющей равнине
Пройдешь вратами выжженного града,
Ответчик и истец в зале мертвых мурашек?

Заразил жалостью к счетным машинам
В хитиновых мантиях, в призрачных доспехах,
Мое наивное воображение носит
До сей поры твой знак, философ боли.
А ведь не держу зла, доктор *Honoris Causa*
Гейдельберга и Йены. Радуюсь тому, что
Горит на трости твоей бель слоновой
Кости, как если бы не татуировал ее пламень
И кто-то сел в бегущие по Аллее дрожки.

Попробую лапидарно описать опыт, полученный мной, когда вместо цеха странников и натуралистов избрал другое занятие:

Верно для этого я и бродяжил.
А как, пускай гадают те, кто, скажем,
Полазив в гротах возле Лез-Эзи,
Наверное делая перекур в Сарла
(Prival, как говорил Алик, мой *бедняшка*),
Оттуда отправляются к Суйяку,
Где барельефы портала в романском храме
Рисуют аферу монаха Феофила
Киликийского, а пророк Исая
Который век пульсирует в гибком ритме,
Как будто дергая струну незримой арфы.
Потом ущельями, пока не явится
Вверху, высоко сокровище богомоллов,
Такое же желанное, как в детстве нашем
Гнездо на верхушке ели: Рокамадур.
Впрочем, не настаиваю. Компостелла
Или Ченстохова не хуже учат.

Тяга и тленность. Тут валун омшелый
Чеканней делается с каждым поворотом,
Потом вдали исчезнет. Там вновь блеснет река
В деревьях и арках моста. Зато мы помним,
Нас не удержат ведута или альциона,
Сшивающая два берега яркой нитью лёта,
Ни девица на башне, хоть улыбкой манит
И нам завязывает глаза, ведя в покои.
Бродягой был терпеливым. Так что день и год
На палке насекал, цель приближая.

И только когда, спустя годы, достигнул,
Случилось то, что, думаю, случилось,
Если на паркинге при Рокамадуре
И место находилось, и ступеням счет
Велся, пока не обнаруживалось, вдруг:
Вот деревянные Мадонна и Младенец в коронах
Оглядывают вялую толпу туристов.
И я. Ни шагу дальше. Горы и доли
Избыты. Огни. Воды. И неверная память.
Страсть та же, но зовы идут ниоткуда.
И лишь разбившись, дом обретала святость.

III. Lauda

Об этой земле один известный алхимик написал, что расположена там, где отведено ей место первой и наиважнейшей потребностью нашего ума, той самой, что вызвала к жизни геометрию вместе с точными науками, философию и религию, мораль и искусство. Алхимик этот, союзник Декарта, кстати, писал также, что называться та земля может Санаа или Армагеддон, Патмос или Лета, Аркадия или Парнас.

Нет, нет здесь места пространству иному.
Но я к вам взываю и вы предо мной,
Почти под тем же солнцем,
Почти похожей луной,
Капля дождя – и та имеет нездешний облик.

Иное. Честь короли отдают,
В парках прелаты поют,
Львы на колени встают,
Чудеса являют.

И мы залиты янтарем, со свистками, смычками,
Убегаем, спешим, поем славу прошедшей жизни
За то, что то, что было, не болит больше.

Тут в моей руке возникает скипетр
Или вот детский погремок, помочь мне немного,
Когда забуду стыд и наконец признаюсь,
Что многое однако вынес.

Стоп, вру, не скипетр, лишь плетъ.
Вернее, хлопушка для мух, чтобы засесть дома,
Прислушиваясь у окна, вдруг сосед заедет,
// Тихо, нет-нет да и скрипнет колодец.

Я там родился, сам был из панов
Почище, чем Ляуда и Вендзягола.
Был крещен, сатаны же я отрицался
Возле Кейдан, в приходе Опитолоки.

Бить мух, медитируя, мое призвание.
А то велеть Юркшису фаэтон готовить
И дышло повернуть к лесам в Гирыле
Сородичей навестить, Сильвестровичей там,
Довгирдов заодно, либо Довгеллов.

Счастья-то достанет. Сельцо у нас спокойно.
Но небогато, мало кто правит каретой.
Накладно, надобен аж четверик лошадок,
Наша так всю жизнь стояла в сарае.

Гнать зверя по пороше. Первая звезда близко.
Пообтряхнулся в сенях, войдя с мороза.
К святкам накрыто, слижики, сыта.
Знает, как мне угодить, разлюбезная Ядя.

Эх, кабы не был послан учиться в Вильно,
Что бы вышло? Ничего ровно.
И так не для моих костей Свентоброшь,
Свентыбрастис, у Святого Брода,
Где обрели покой все мои предки
И где ребенком дивился лошадиной привычке
Пить, остановившись посередине речки.

Словно бы я в пропасть бросаю камень
С моста Голден-Гейт, откуда самоубийца
Летит, как летают во снах, легче чем чайка.
Словно бы просыпаюсь пополудни,
//Затянутый во фрак с золотым узором.

Так записано, тайным шифром генов.
Либо сам дьявол из-за Невяжи, полунехристь,
Со мною, барчуком, за шахматы сел, исполнен
Еще не изведанной теллуровой мощи.

Не стану утверждать, что мне подфартило в девятнадцатом или в двадцатом веке, поскольку нет в этом уверенности, да и особого значения. В краю том четырехсотлетнее и вчерашнее различаются мало чем. В остальном место, что не теряет, но обретает выпуклость, весьма конкретно, и, вспоминая его, я стараюсь избежать вымысла. Хотя я и собирал земные ландшафты во множестве стран на двух материках, воображение мое не могло справиться с ними иначе, нежели соотнося их с местами к северу, к югу, к западу и к востоку от деревьев и холмов одного уезда. В моем уезде и в соседнем, Ковенском, любая речушка, любое село и местечко обладают бесспорным удельным весом, отчего историки и архивисты относились к ним почтительно. Благодаря их труду я и смог составить следующие ПОЯСНЕНИЯ.

Ляуда. Корень слова не связан со средневековым итальянским хвалебным гимном, *lauda*, к коему апеллирует мой заголовок, не представляет собой резолюций региональных собраний plural noun. Литовское «Ляуда» отнюдь не родственно латинскому *laudare*. Течет в той стороне речка Ляуде, впадающая в Невяжу и имеющая пять притоков: Некельпа, Гардува, Кенисротас, Никис, Вешнаута. Что же касается жителей, сослался бы на «Потоп» Сенкевича, да, боюсь, литературные сказки суть сомнительный источник. *Lietuvių enciklopedija*, монументальный труд в 36 томах (Бостон, 1953–1969), сообщает: «Ляуда. Название шляхетских сел на правом берегу Невяжи, на линии Почунеляй – Дотнува (Кейданского повета). Достаточные данные о ляуданской шляхте содержат судебные акты Россиенского края с конца XVI века, купчие крепости и прочие документы. В те времена широкая полоса правобережья Невяжи, где проживало боярство обширной, далеко простиравшейся земли Велюонской (*Veljuona*), звалось Ляудой. В бумагах просто: “в Ляуде”, “в Ляудах”, “Ляуденское имение”, “Ляуданский двор” и т.д. Название это идет изначально от речки Ляуде. Поместье и поля Ляуды А. Салис локализует вблизи костела в Почунеляй (к западу от Крякянавы). Возможно, существовали и другие Ляуды. Происхождение этих поселений трактуют по-разному. Ближе всех к историче-

ской правде подошел, кажется, Г. Ловмянский, выдвинувший тезис о том, что мелкие владыки шляхетских «околиц» посажены там Вел. Князем еще в XIV веке и непрерывно участвовали в войне с крестоносцами. На них были возложены оборона и снабжение замков на Немане. Пока кшижаки беспрестанно опустошали владения на правом берегу Немана до самой Велюоны, Ляуда и местная шляхта из Дотнувы предоставляли замкам своих людей. Вплоть до XVIII века из этих шляхетских селений складывалось хозяйственное пространство Велюонской земли».

«Паны почище, чем Ляуда» означало, что на общественной лестнице они находились выше владельцев «застенков», но ниже аристократии. За точность не ручаюсь, ведь усадьбы «околиц» по площади были неодинаковы, а кроме того, всех тамошних можно было счесть «Ляудой» в давнем, широком значении слова. Моя мать родилась там же, где и ее мать и где полагалось родиться мне, в имении Шетейни, то есть Шетеняй, на левом берегу Невяжи в 3 км от Свентобрости, она же Святой Брод, недалеко от Ляуды, у Зигмунда Куната (а фамилию эту писали порой с двумя «т», как упомянутый в *Lietuvių enciklopedija* Станислав Кунатт, эмигрант, экономист, профессор Польской школы в Париже) и Юзефы Сыруть. Относится ли приведенный ниже документ 1595 года, опубликованный в *Istorijos Archyvas*, т. I, составитель К. Яблонский, Каунас 1934, к моим предкам, с уверенностью не скажу, а что касается правдоподобия, то пусть фамилия Сирутис и встречается среди крестьян, в новейшее время других дворян Сырутей в округе, да и вообще нигде, не находилось. В любом случае, документ этот говорит в пользу пребывания семьи в «Ляуде». Писан «русской мовой», привожу приблизительную транскрипцию: «Я, Себестыанъ Юрьевичъ Волоткевича, возный господарски земли Жомойтское, волости веленской, сознаваю тымъ моимъ квитомъ, ижъ я маючы пры себе стороною двухъ шляхтичовъ, земянь господарскихъ земли Жомойтское, именми ниже в семъ квите описанныхъ, ижъ в ходу теперешнемъ тисеча пятсотъ деветдесять пятомъ месеца генвара трынадцатого дня былъ есми въ справе взятый за ужитьемъ земянки господарской земли Жомойтское паней Барбары Войтеховны Кровшовны Яновой Венцлавовича Сирутевой въ именью, въ дворе ее, лежачомъ въ земли Жомойтское въ волости веленской, прозываемомъ Лявды, которая пани Сирутевая передо мною вознымъ и стороною двема шляхтичы тотъ дворъ свой Лявдевский зо всимъ про всимъ, от мала ажъ до велика, зо всемъ будованиемъ дворнымъ и всими кгрунты оремыми и неоремыми, лесными и сеножатными, зъ челедью дворною и зъ людми тяглыми и данники и зо всякими ихъ повинностями, къ тому именью прыслушаючими // и прыналежащими, водлугъ листу своего вызнанного вечыстого въ моцъ, въ держанье и уживанье вечыстое подала и поступила сыну своему пану Адаму Яновичу Венславовича Сирутю, земянину господарскому земли Жомойтское, который панъ Адамъ Сируть черезъ мене возного и сторону въ тотъ двор помененый, въ именье, въ люди увезалсе и въ интромисию вшоль, и я его увезаль и меновите за прозбою и поступленьемъ пани Сирутевой къ тому именью прыслушаючыхъ всихъ подданныхъ и челедь дворную списавши в томъ квите моемъ, место инвентара реестрового за реестръ и инвентаръ почытаючы, такъ есми выменоваль...» (следует список).

Вендзягола, литовское Ванджёгола, местечко по направлению к югу от Кейдан, в ковенском уезде, 25 км от Ковно, 12 км от Бабтай, 11 км от Лабунавы. Под Вендзяголой понималось еще одно скопление шляхетских хуторов и застенков неподалеку от Ляуды. В *Lietuvių enciklopedija* читаем об истории Вендзяголы: «В качестве поселения В. известна уже с XIV века. Упоминается в хрониках крестоносцев как Вандаягель, Вендягель, Вендигалин. К западу от В., во второй половине XIV века, через Бабтай, Арёгалу, Батакяй шла широкая линия укреплений, защищавшая густонаселенный центр Жмуди от набегов кшижаков. На небольшом отрезке этой линии между В. и Лабунавой, длиною 8 км, в 10 местах высились заслоны из поваленных деревьев, колючими сучьями и острыми верхами обращенные к неприятелю. В 1382 или в 1384 вице-комтур Рагнита М. Шульцбах, вторгшийся в Литву с целью помочь Витовту против Скиргайло, наткнулся в В. на толпу людей, собравшихся на праздник, и был вынужден биться

с ними. 120 литвинов погибли, сражаясь за свое святилище, 300 человек были взяты в плен и вывезены за Неман.

Для нужд растущего поселения Ян и Мариона Ростовские (Ростворовские) из рода Лопатинских поставили в 1664 деревянную церковь Св. Троицы.

Еще читаем, что в 1863 викарий вендзягольский Антоний Козловский был арестован и выслан в Сибирь. Находим и следующую информацию: «Усадьбу в В., принадлежавшую ранее Хлопским, в 1890 купил З. Гартровский. В 1918 ополяченные жители В. и окрестностей решили провозгласить независимую “вендзягольскую республику”».

Отец мой родился в Сербинах под Вендзяголой у Артура Милоша и Станиславы из рода Лопатинских. Сестра моей матери вышла за Здислава Юревича (Юриевича, *ie* причиняло немало хлопот, тем более, по-литовски *ie* читается *ия*) из-под Бабтай. Тем самым я показываю, что в областных архивах повторяются одни и те же фамилии.

Опитолоки. В старых документах обычно так. Литовское «Апиталаукис». Костел и усадьба 5 км севернее Кейдан, на левом берегу Невяжи. *Lietuvių enciklopedija* описывает: «На склоне холма стоит небольшая церковь в барочном стиле с одной башней, воздвигнутая тиуном Эйраголы (Арёгалы) и судьей Жмудским Петром Шукштой в 1635, рядом несколько зданий, а в 0,5 км от берега – дворец в парке. Дворец конца XIX века в духе классицизма, образующий в плане букву Н, с коринфскими и ионическими колоннами и тремя ризалитами. В обрамлении окон присутствуют элементы барокко и ренессанса. В интерьере заслуживают внимания изящные печи и гипсовые розетки. В вестибюле еще во время II мировой войны можно было видеть мебель (стол, кресла, одежный шкаф, вешалки и пр.) из рогов оленевых. Граф Генрик Забелло купил ее за 5 тыс. рублей на Всемирной выставке в Париже. Часть гарнитура экспонируется в музее в Кейданах. После войны дворец был превращен в дом престарелых. В 1802 в имении основали школу. О. поселение древнее, в Ливонской хронике упомянуто уже в 1371. Впоследствии О. принадлежали Петру Шукште, который построенному им же костелу передал три уволоки земли. Казимир Завиша затем подарил алтарь и, после перестройки церкви, заложил семейную крипту. О. принадлежало и Карпам, и Тышкевичам, а с конца XIX века – Забеллам, забросившим центральную часть усадьбы и владевшим запущенным парком вплоть до 1940 года».

К Опитолокам восходит моя крестильная метрика, на русском языке. Во дворце не был ни разу. Петр Шукшта, явно тот же судья Жмудский, сделал опись своего движимого имущества, каковую привожу по *Istorijos Archyvas*, 1934, дабы уравнивать в правах год нынешний с годом 1587-м:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.